

Олег БАЛЕЗИН

ДИСТАНЦИЯ

Екатеринбург
2015

Ирина Коркунова – дизайн, верстка.
Илья Балезин – обложка, техподдержка.

© Балезин О. В. «Дистанция», Екатеринбург, 2015 г.

Стихи Олега Балезина публиковались в газетах «Искра» (г. Кунгур), «Комсомолец» (Челябинск), «На смену!» (Екатеринбург), «Трибуна» (Москва), в «Литературной газете», в «толстом» журнале «День и ночь» (Красноярск), в книге «Приют неизвестных поэтов. Дикороссы» (М., 2002 г.). В 2009 году в Екатеринбурге выпустил футурологическую книгу «Самоспас». «Дистанция» – первый и одновременно итоговый поэтический сборник 60-летнего автора.

От автора

В 1972 году руководитель городского литобъединения Наум Хаунен опубликовал в кунгурской газете «Искра» мое стихотворение. С тех пор в восприятии одноклассников, военрука Ю. Максимова, неистового стихотворца, и, главное, в своем собственном я сделался поэтом. Было мне тогда 17 лет.

После блистательного дебюта, казалось, и первый сборник не за горами. Но издать его что-то никто не предлагал. Пускаться в тяжкие хождения с рукописью по издательствам, редколлегиям, комиссиям смысла не видел, прежде всего потому, что не обнаруживал в своем загашнике собственно рукописи. Тогда же сложился график производства стихов. Ждешь некоего настроения, волн, порывов, принимаешь их за вдохновение, трое-четверо суток пишешь, не отрываясь, три четверти произведенного выбрасываешь в помойное ведро, остается три-четыре текста, месяцами носишься с ними, выучиваешь наизусть, бомбардируешь при случае друзей и приятелей, часто вовсе не подготовленных к такой атаке. Честно скажу, любил и люблю читать чужие стихи больше, чем писать свои. Эта пагубная привычка напрямую ведет к проклятому перфекционизму. В результате: годы уносились, а подразумеваемая рукопись оставалась неприлично тощей.

Уже наступили времена, когда за подъемную кучку денег можно запросто издать поэтическую книжку. Если она у тебя в принципе есть. А если нету, то так уютно бомжевать в обнимку с теплотрассой великой русской поэзии. Тем бы, скорее всего, дело и кончилось, если бы однажды, а точнее, в 2000 году поэт, бард и друг Серега Нохрин не сообщил: «Пермяк Юра Беликов хочет издать книгу «Приют неизвестных поэтов». Давай, напечатай свои стихи, отправим». Мне это понравилось – приют. Подходящее место для моих хилых, подземельных созданий.

Незнакомый мне лично Беликов оказался добрым. Нохрин рассказывал, что мэтр при случае цитирует моего «муравья, несущего травинку» и рассуждает, какое это необыкновенное животное. Между тем, окружающие начали замечать: я толстею еще. Им было невдомек, что муравей таким образом превращается в самодовольного слона.

Получилось совершенно гадским образом, что на вечерепрезентации книги «Приют неизвестных поэтов. Дикороссы»

в декабре 2002 года в Москве, в Домжуре, я единственный представлял Екатеринбург. Сережи Нохрина там не было, он умер.

Трудами Юрия Беликова за десять лет поэтическое движение дикороссов превратилось в мощную реку, типа Волги или Оби. Собственно, этот поток и вынес меня на свет. Замечу однако, что плодовитым поэтом я так и не стал. Никаких порывов и вдохновений, правда, уже не жду, но возраст такой, что пристало держать планку над головой, а попробуй, подними себя на подвиг. Лучше в кустах отсидеться. Но звонит Беликов: «Планирую дать твою подборку. Пришли еще стихов». Я тырк в тетрадки — ни фига. Хорошо ему говорить, «пришли». Как будто тут залежи, золотые россыпи. Но пообещал же — садишься, пишешь.

Пяток лет назад вдруг ошаршила непреклонная ясность: если не сейчас, то никогда. Так еще все совпало: родился я в 1955 году, исполнилось 55 лет. Думал даже название книги составить из двух пятерок (прочитал о значении чисел: оказывается, «5» подразумевает вовсе не «отлично», а «риск», то есть получался двойной риск, что вполне соответствовало задумке). Потом год проболел. Это обстоятельство еще больше убедило меня в правильности выбранной цели. Первый мой стихотворный сборник выходит через 40 с лишним лет после моей первой поэтической публикации. Вот, страшно легко ворочаю громадными цифрами.

Я сам набирал тексты, редактировал, корректировал — это абсолютно авторская книжка. Если вы заметите, допустим, орфографическую ошибку, безропотно приму вину на себя.

Расположение текстов вполне бесхитростное — в календарной последовательности. По правде сказать, раньше стихи не датировал. Пришлось восстанавливать время написания с помощью ненадежной памяти. Если где ошибся — беда небольшая, чай, не классика. Стихотворные циклы размещал в соответствии с датой написания первого текста.

Дальше я то и дело буду встречать со своими пояснениями касательно географии, персоналий и смыслов. Стих и так достаточно зашифрованное высказывание, чтобы грузить его лишними темнотами.

Ну, вперед! Если вам запомнится пара строчек, а то и целая строфа — буду доволен.

Даже когда по цепи золотой
лапками мягкими перебираешь,
круг замыкается, и понимаешь,
что золотая не лучше стальной.

1982 г.

Покинутый дом

Трава переросла забор,
и тополь встал над домом.
Растут как совесть и укор,
но только все — в зеленом.

Из ставня ветка в небо бьет.
Как луг, мохната крыша.
Природа пересоздает
все, что неладно вышло.

Не с той делянки рублен лес,
пошедший на стропила.
Хотели храм, а вышло без
ума, тепла, ветрила...

1983 г.

На длинном государственном окне
присели голубь сизый, голубица.
Любовь топталась в гордой вышине,
забывши мостовые и криницы.

Как тонок взмах и как неуловим,
и перьев дрожь, и бледность в ваших лицах,
но кто-то щелкнул и окно открыл,
лететь теперь — и долго не садиться.

1986 г.

Гастроном отшелкнул счетами
костяных своих дверей
нас, вошедших нерасчетливо
в дом из дробей и корней.

Дробь каблучная и корни
бледной репки – хороша!
Продавец сказал: «Прокормим!»
Встала в очередь душа.

В белом колпаке лобастом,
как аптекарь, у весов
умазал соленым маслом,
сыпал в сумку огурцов.

Дробь каблучная и корни,
ветер снежный, смех, тоска
взвешивались непреклонно
в жуткой глуби колпака.

И в очередях протяжных
истощавшая душа
у весов с расчетом тянет.
За душою – ни гроша.

1987 г.

По-собачьи за теплоходом
увязались, не отстают.
«Где же Волга?», – трепещут хором.
Волга глухо ответит: «Тут.
Я в низинной струе невидной,
я пронизываю насквозь
прошлых вод вперемешку с глиной
взвесь,
раствор,
сукровицу,
сок.

Потеряла я берег прежний,
натыкаюсь, скользя по дну,
на деревья, столбы, валежник,
что лежит по весне в цвету».

Чайки сядут, уткнувшись в воду,
будто вглядываясь в глубину.
...Капитан прибавляет ходу,
свищет ветер морской ему.

1987 г.

От посвиста света
до желтой рванины в лесах
дорога извета
и сломанный гром на весах,
и сбитая напрочь
прицельная планка,
и плен
распахнутых на ночь
очей недобытых елен.

Как холмик ромашковый
или растертый светляк,
вам светом помашет
белесая прядь на висках.

Запрятаны в белом
свиставшие прежде цвета.
Наброшена мелом
осенних небес нагота.

И грома остаток –
попавший под ногу сушняк.
И страшен, и сладок
на свет прилетающий мрак.

1987 г.

Поезд уткнулся
в дождливый и красный
сентябрь.
Капли со лба
оботру я листком порыжелым.
Тонко оттиснется сетка морщин,
и хотя б
осень продумаю кленом,
что весь отшумел уж.
Истина брезжит Полярной,
холодной звездой.
Я зачерпну ее в озере зябкой ладошкой,
вынесу на берег
строго по лунной дорожке
и расплещу,
и подумаю:
«Что ж тут поделаешь?
Кто я такой?»

1987 г.

Никто за полночь эту не ответит.
В густом окне настоян чернозем,
и пепел на столе,
и в целом свете
один пустынный комнаты проем.

Ласкает плечи пледа ворс кошачий.
Экран бормочет.
Дикторша прелестна.
Кусок арбуза,
он еще не начат...
Вполне благоустроенная бездна.

1987 г.

Украинский мотив

Как вдовый платок
на плечах зеленевшей земли,
наброшено поле –
к Победе уже пропахали.
И травы пробились,
стежком вышиванным взошли.
Цветастые шали
к осеннему небу зывали.

1987 г.

Бульвар прогреет,
и оттого-то вечер веет.
Нет ни одной не занятой скамьи.
И сладок путь
по призрачной аллее,
где сигареты,
будто светляки.
Духи дохнут,
заденет ситец легкий,
и незнакомец, гордый,
как пират,
причалит лакированные лодки
к тем вольным босоножкам
у оград.
Фонарь в листве
дарует тополям
тропическую сочность
– и пробившись,
наполнит взгляды
встречных прохожан
мерцаньем влажным
перезревших вишен.
Как сладок путь,
беспечен и игрив,
и нет конца аллее,
слава богу.
Вот так и жить:
насвистывать мотив
и воздух, как цветок, ноздрями трогать.

И к вечеру свободу обретя,
простить полдневный жар
и холод утра.
И время даже тени от тебя
достать не сможет,
тропки перепутав.

1988 г.

Посткурортный роман

Заломлены телеграммы –
ворох в углах,
и «тчк» читается –
«твой чрезвычайный крах».
Переселенье воздуха –
запах магнолий влет
бьется об окна зимние
и на стекле цветет.
На загорелых запястьях
выпушки тишина –
так бы вошла ты, если б..
Если бы ты вошла.
Над перелеском кротким
встретятся Север и Юг.
Юг, блин, в ботах,
а северам — каюк.

1988 г.

Обернешься –
и скажешь: «Живи!».
Черт с тобой!
А со мной — никого.
Белый хвосток окна подожгли
лепет губ
и руки колдовство.
По окну заскользила смола.
Как в прицеле, я вижу –
уходишь.
Город весь раскален добела.
Исчезаешь –
сгораешь ты вроде.
Остается простое: «Живи!».
Стол протру,
и почуяв удушье,
головою уткнушь взаперти
в белый пламень
измятых подушек.

1988 г.

Дождь за окном.
Два квартала до клуба,
где в потолке
от выстрела дырка.
Вася наклюкался там
и оттуда
грустно во тьму мокрую зыркал.
Воды лежали
на наших путях.
Отче о Сына оперся,
и дальше
мы огороды избрали как шлях.
Я его вытащил дважды
на марше.
Сушится Отче.
Глупо глядит.
Не замечая
иконы в щетине,
бродят хозяйева,
свечка горит,
девочка книжки
листает в уныньи...

1989 г.

Снова заморочки осени под шиной.
Нет чернее грязи, чем сама земля.
Нет другой такой, веселой и счастливой,
где бы мой башмак чавкал не зазря.

Ой ли, коромысло во поле провисло.
Ой ли, в тех озерах ведьмина вода.
Загляжусь в темнину, в тину и стремнину,
и губа отвиснет с головы зада.

Не Алена кличет дорогого братца.
Вот мой вечный ворог, словно конь в пальто.
Он со дна зеленого хохотом смеялся,
мне вослед смеялся, не пойму — пошто?

Осень — заморочка, тинная проточка.
Хорошо на доньшке с отвислою губой,
а тому, ушедшему, во лесу — заточка,
в поле — камень под ногу,
яма — под горой...

1989 г.

Покуда мы все –
на Казанском вокзале.
Ушли поезда
и во тьму прокричали.
Ушли поезда,
а Казанский вокзал
стоит величаво,
как вечно стоял.
Нет бога под куполом.
Может быть, бог
спустился в толпу,
но пробиться не смог
к заветным окошечкам
в кассовом зале:
ни книжицы красной,
ни даже медали.
Не ангелы машут над нами крылами –
вороны,
что сыр свой давно прозевали,
и ходит охрипший и полуоглохший
дежурный
с фамилией точной –
Алешин.
«Але!», – по-казански орем
в телефоны.
«А че?», – отвечает нам кто-то резонно.

Посвящение перестройке

Усталый Арлекино снял часы,
и истина, бесстыдна, как король,
одна фата-моргану танцем жгла.
Сбежались времена, отмывши смысл,
трубили, вспомнив праведный пароль,
и проступали на снегах тела,
и жегся снег, и был тот снег, как соль,
колпак валялся и звезда цвела.

1989 г.

Будь у мантии шлейф –
а носильщик найдется.
Будь горласт –
и тебе в тыщи уст подпоют.
Будь жесток до беспамятства
спицы в колесах,
четвертующих –
и наградят,
и поймут,
оправдают,
ударят треухом,
оплачут,
обоймут даже гипс
и портреты протрут.
Ты связал их
скупым равноправьем
подачек,
общим, смертным восторгом
карающих рук.

1989 г.

В общежитии

Мне шесть квадратов на Земле
отведено, в пространстве сущем,
как пушке с ядрами в Кремле,
как зубру в Беловежской пуще.

1989 г.

Нырну в ложбинку улицы старинной,
в прореху опостылевших часов –
фонарь над грузной дверью выгнул спину,
к чугунной паутине лист присох.

Лепных карнизов трепетная завязь,
отцветшая, облупленная, но
врастающая в стены гулких залов,
что мыслятся за каждым из окон.

И дальше – арка. Вырез так удобен.
Пусть пол-тебя до этих кирпичей,
но даже в рост теней и их подобьем
пройдешь под сводом в слепоте ночей.

Очищен камень от былых страстей.
Он – клавесин, оборки и гардины,
он – только дух, усталый дух старинный,
покорно принимающий гостей.

1989 г.

Дистанция

Поначалу я пометил «Дистанцию» определением «Поэма, или Кладбище стихотворений». Насчет кладбища, видимо, нужно пояснить. Людям, даже подготовленным, тяжело читать длинные рифмованные тексты. Сужу по себе. В поэтических сборниках поэмы чаще всего пролистываю. Думаю: «Когда-нибудь потом, под настроение». В одной сказке изобретательный волшебник наказал дерзкого мальчика тем, что заставил его говорить исключительно в рифму. Мальчик очень страдал, перестал улыбаться, потерял, как говорится, покой и сон.

Главки поэмы — это законченные стихотворения. Я по отдельности, случалось, декламировал их со сцены, по отдельности — отдавал в печать, и редакторы, если нравилось, спокойно ставили их в полосу, справедливо не подозревая, что имеют дело с частью чего-то большего. Помещенный внутрь поэмы, каждый такой текст становился струей рифмованного потока и, мне казалось, в некотором роде умирал для и без того редкого читателя. Но ведь и от целостности высказывания не хочется отказываться, и она, целостность, надеюсь, в «Дистанции» просматривается.

Теперь о названии. «Дистанция» книги выросла, конечно, из «дистанции» поэмы, но не тождественна ей. У этих двух дистанций — разная длина, разная конфигурация, различны и способы их преодоления. Ну, кто захочет, разберется.

II

Просыпается с рассветом вся страна.
Все будильники поставлены на восемь.
Нынче – праздник, и отбеленная в просинь
ждет рубашка пробужденья пацана.

День рождения великого вождя
не пропах еще рабочим потом.
Песенок сладчайших, как зевота,
я ловлю трансляцию не зря.

Но проспять и мама мне не даст.
Я – пацан, но тут такое дело:
нынче будут принимать нас в смелых,
в добрых, в честных нынче примут нас.

Чищу туфли, как под Ленина себя.
Мой букет краснее Красных Пресен,
брюки — в стрелку, строгий ворот тесен.
Поджидаю во дворе ребят.

Мы сегодня дружные с утра –
так диктуют вещице начала.
Чтоб букеты вдрызг не измочалить,
чинно мы проходим вдоль двора.

Опускаю: общий фотоснимок,
громкоговорителей балдеж,
и колонну, пеструю, как еж,
с листьями знамен непобедимых.

Повязали галстуком и клятвой.
Боевой «Интернационал»
привокзальной площади хорал
разносил над стройкой и над жатвой.

Тут и начинается сюжет.
Мой сосед, Геннадий Завьялов,
двоечник, шпана и задавала,
с головы не снял вельветовый берет.

Генку я, признаться, опасался,
только вот ударил в сердце мне
пепел всех, попадавших в борьбе,
и берет на глупой голове
страшным мне кощунством показался.

И вскипел мой разум возмущенный.
Силы взяв в наследии отцов,
дедов, братьев, теток и дядьев,
длань вознес я, точно меч Горгоны.

Без берета головы кочан.
Получил в ответ, как ожидалось,
по уху, где до сих пор плескалась
песня пролетариев всех стран.

Добрая учительница наша
к нам стояла строгою спиной.
Повернулась, чутко угадавши,
что линейки не линеен строй.

Бдительность моя сошла на нет,
но во тьме сознательность не гаснет –
по доносу милых одноклассниц
я накрыт. Мне только десять лет.

Через зал фигура поплыла
в старомодном, крупном балахоне,
и по стенам тени похоронны,
как от Люциферова крыла.

«Ты посмел прийти? Обман какой!
Что молчишь? Ты совесть потерял».
На экране пойманный герой,
подражая мне, не отвечал.

«Уходи», – сказала мне она.
Я сидел, вцепившись в ручку стула.
Видимо, учительша смекнула,
что не выйдет, и ушла сама.

Я из боя вышел невредим.
Константина все же расстреляли.
Был размыт горчайшими слезами
в черном зале черно-белый фильм.

III

Чищу туфли.
Надеваю брюки-клеш.
Полы в розах
у моей рубахи.
Танцплощадку
пробирает дрожь.
Огоньки.
Милиция.
Собаки.

Белых мини-юбок
легкий взмах
на цепных качелях
по соседству.
Белый взмах
сирени во дворах.
Я на запах
ухожу из детства.

IV

Пока в подворотне щенится облезлая сука,
и гаммы выбрасываются из окон
скакать по брусчатке,
уже с именин ковыляет старуха,
в платочке увядшего лика закрывшийся кокон.
У нас не Монмартр и не март,
уже май за плечами
завесил шпалерами листьев
сквозные – навывлет – дворы,
и в них угнездившись,
сипатые струны мочалит
бред сонных зимовий,
скулящая темь конуры.
Полай на Луну –
черта с два удостоишься взгляда
стоглазого Аргуса.
Известно ему наперед,
что, цыркнув плевочком,
проводем больную руладу,
и Бог не поможет,
в плевочке звезду не зажжет.
Всевышний пошлет
отставного махрового дворника.
Летучей метлой тот стирает окурки, плевки.
Забитая пылью мембрана –
подобье отстойника –
сквозь кашля помехи
хрипит незлобиво:
«Щенки».

V

Оббиты пороги,
отпеты мои башмаки,
опричина весен не знает
другого устава,
как только до крови
об двери сбивать
казанки
и вешать лапшу
без запинок,
смущенья,
поправок.
Пока бубенцами бренчат по штанам
медяки,
со взмыленной гривы
не пал
даже волос единый,
влетаю – а сзади –
от вихря
трещат косяки,
и сдвинуты
рельсы трамвая
к подъезду любимой.
Любимая, слушай,
когда просыпаемся в шесть,
в настенных часах
успокоены ранние токи,
цветы на портьерах мерцают –
и хочется есть,
но лень и невмочь
расплести
в узел свитые ноги.

Любимая, знаешь,
сейчас мы провалимся в сон,
лужайки залижут следы
и рассыплются росами,
от желтых жуланов
в слепящей заре небосклон,
дурачась, легко
мы простимся с тобою
на расстани.
И в полдень,
когда рассмешит меня
твой волосок
и солнечный зайчик
оближет затекшие веки,
я вздрогну – ты здесь! –
и пойму:
горизонт на восток
очерчен бедром –
и уже недоступен вовеки.

VI

Понимаю дистанцию –
не как меру пространств,
как талантов градацию,
неслучившийся шанс.

Мог бы посуху, засветло,
да, видать, не успел,
вот и звезды тарашатся
в темных водах у стен

Все принцессы – за стеклами,
все друзья – в камышах.
Розы в поле почепали,
и штанина в репьях.

Просит времечко голоса –
отбрехаюсь в ответ.
На дистанции волоса
беглой истины след.

На дистанции памяти
мама, смех, крепдешин.
На бинты разорвали мы
шелк отцовских седин.

И вовеки, и присно,
колесницей гремя,
по дорожке ворсистой
едет сын мой Илья.

Неспешны наши русские романы.
Отшельники оседлые кладут
страницы, как поленницу.

Янтарны
слова насквозь —
зовутся «жизни труд».

А так заметки, очерки, наброски...
На вещий камень — обрыв бересты.
Середь ухабов
вытрясешь вопросик,
и ну, пошел втыкать перо в листы.

Чтоб молвить слово с кем по-человечьи,
из лужи пьешь, на щепки рубишь сад,
врываешься, шальной уже, под вечер,
но дом снесен и умер адресат.

Бог милостив. Шептаться можно с ветром,
мести асфальт, чтоб отразились в нем
кисть желтого листа —
с немым приветом,
зрачок луны
с презрительным бельмом.

IX

Я у черта на куличках.
Зачерствели куличи.
Окунаю в море спичку –
горизонт горит в ночи.

По заданию Пентагона
вылетает в тот же час
на разведку ас ученый,
по-английски матерясь.

Киприот из грота ранним
утром выйдет — и в прибой.
Пятки жжет, как в серной ванне.
Сам веселый и хмельной.

Дама, с набережной Ниццы
нос наставив в нежный бриз,
поперхнется, прослезится,
отирая гарь с ресниц.

А в Гренландии гористой
смыло в море ледники –
густо встали кипарисы,
расплодились мотыльки.

Потрясенные масоны,
под подпольем схороня
вольный камень нанесенный,
ложу ложат, гомонят.

В славном городе Нью-Йорке
под эгидою ООН
за столом морские волки
молча глушат фталазол.

Я у черта на куличках,
неизвестный, как герой,
покрываю хлеб годичный
хрусткой коркой золотой.

Всласть отужинав, разуюсь,
две портянки просушу,
вдаль уставясь, затоскую,
плюну — море потушу.

Х

*«И домик садовый с глазами поморца
ночным телевизором льет из окна:
знакомый скворец, и Высоцкий, и Моцарт,
и ветер... А музыка все же одна.»*

Ю. Казарин

Шарманщик игру затевал на углу.
Мелодия ходит по кругу, по свету
одна — и другой у нас попросту нету,
но только об этом давай ни гу-гу.

Оборваны струны, Оставишь одну.
Вендетта Венеции, моря очаг
заставят терзать Паганини струну.
Обрывок услышит с утра Пастернак.

Как бур одуванчика стебель и схож
с корою сосновой, увенчанной гривой.
Высокого воздуха вещью дрожь
сквозь полую трубочку пьешь сиротливо.

Мы выплывем врозь на последний утес.
Поет Лорелея — и голое ухо
проступит из тьмы первобытных волос,
и лоцию спутает эта присуха.

Спиваясь от спеси, разубранным лбом
колотишься в спины, бормочешь упрямо:
«Я вызнал единственный в мире глагол,
гортанный,
как музыка дымная в храмах».

Хожалой дистанции жалкая треть,
скупое мгновенье — кому как придется -
нам выданы вслушаться, чтобы пропеть
неточный повтор языком инородца.

Шарманщик игру затевал на углу,
печаль намотав на заржавленном шкиве,
а мера таланта (о том ни гу-гу) —
всего лишь — насколько изящно сфальшивим.

XI

Костер запалю — и останется стая
серых в чаще. Покуда горю,
ликом инока в черное время вращая,
путь понятнее детям и поводырю.

Краток скудный привал. Судный день на востоке
мой приглушит огонь, запалив горизонт.
Что осталось? Чадающие, черные строки.
Уходя, затопчу, почитая таежный закон.

Свет рассеян и сер, как птенец,
несмышлен и незряч,
мне уткнется в лицо
и огладит невысохшим пухом.
Смысл дистанции —
выйти к привалу
и плач
обронить напоследок
в дуплиное черное ухо.
Скрип сосновых стволов,
шелест листьев
дубовых и вербных,
колыбельно тихи,
и трава просыхает уже.
Все не так и не здесь,
нет ни правых, ни умных, ни верных —
рюкзачок за плечо
и резец сапога на меже.

1990-91 г.

Зимние реминисценции

Опять звереть в овчине в темных зимах,
расшатывать трамвайный сгусток плеч,
грызть сигарету, словно кисть рябины,
по этажам гонять расхристанную клеть.

На амбразуру встречных разговоров
переть в проулке, затянув кушак,
и шаромыгой, но еще не вором
глушить портвейном скуку натошак.

Мы видели свободу. Да, нагая.
К тому же истерична и слепа.
Исхлестанная тысячью нагаек,
не знаю даже, как и добрела.

Здесь все не так. В кулак зажавши провод,
кружит троллейбус, потеряв кольцо.
Матросы спят. И помощь — только повод
втереть во льды еще одно лицо.

1994 г.

В порту Хальк-эль-Уэд я подобрал монету.
Чеканился старик

и в профиль, и анфас.

Он здесь сидит века,

бурнусу сносу нету,

и седость бороды старее града Сфакс.

Слезливые глаза закреплены штативом,
рассеивает взгляд прах карфагенских бань.

Он обтекаем, как

носатый мыс проливом,

он прям, как минарет,

привычен, как герань.

С него печатал двор злаченные монеты.

В раскопчной пыли летами без дождя
находят их еще,

толкуют про секреты,

суровый образец стороной обходя.

1996 г.

Гауди

Антонио Гауди (1852-1926) — всемирно известный каталонский архитектор. Он родился в г. Реусе, расположенном в 150 километрах от Барселоны, в его жилах текла и польская кровь.

Многие сооружения Гауди утопают в растительном орнаменте. Точнее так — представляют из себя каменные сады, скверы, леса. На фасаде Рождества храма Саграда Фамилия тщательно воспроизведено 100 видов животных и столько же растений, 30 из них характерны и для Каталонии, и для Святой Земли. Птички у него не сидят на ветках, а как бы растут из них. Гауди считал природные конструкции совершенными и возводил свои сооружения по божьему подобию. Вот цитата из книги «100 великих архитекторов»: «Удивительны разветвления опор; напоминая живые деревья, они спроектированы так, чтобы исключить распор и снять необходимость в устройстве наружных контрфорсов. Ветки колонн расходятся, перерастая в поверхности гиперболических сводов с отверстиями, подобными цветкам подсолнуха.» Но Гауди не только подражал Создателю, он дерзил улучшать Творение, делая живыми камень, песчаник, керамику.

Саграда Фамилия (собор Святого Семейства) — пожалуй, самое красивое, мощное, затейливое и таинственное сооружение из тех, что мне довелось видеть. Начатый в 80-х годах XIX века, храм и сейчас далек от завершения. Гауди не оставил проектной документации. Общий замысел понятен, но детализация отсутствует. Мастер рассказывал свои фантазии ученикам, а те делали наброски будущих башен. В 30-е годы XX века, в гражданскую войну, эти эскизы были уничтожены. Архитектор Субиракс создал страшный фасад Страстей. Барселонцы его не любят

и обзывают «Звездными войнами». Видимо, остается спиритизм — выходя на связь с Гауди, только и можно уяснить дух великой затеи. Сеансы, похоже, редки, и Саграда Фамилия виснет между миром и надмирьем, открытая нам лишь видимой частью.

Последние годы жизни Гауди провел на территории собора. Роковой трамвай сбил его в нескольких десятках метров от работы-обиталища. Поначалу земляки не узнали знаменитого человека, и архитектора доставили в больницу как «неизвестного гражданина» – пожалуй, он был уже Там. Смерть официально зарегистрировали через 3 дня.

Благодаря Гауди, его коллегам Пучу, Думенеку-и-Мунтане, Жужолю и др. Барселона представляет из себя заповедник модернизма — моего любимого, наряду с эклектикой, архитектурного стиля. И еще это место, откуда Гауди проделал прямой ход Туда.

Рецепт по выращиванию камней
куда как сложен.

Не рви с куста
зеленых портретов,
не покупай камелий –
сам стань под ветер,
тень пашнею распластав.

Потом учись
собирать в мензурку
солнца лучи,
и бросать в огонь
гибкость фламенко,
чуть-чуть – мазурки,
так, чтобы выпарить соль на ладонь.

В каменной чаше
вызвать движенье
и в трепетном лепете
вдруг различить
голос свой замолчавший.
Тело без имени брошено на Земле.
Ни семьи, ни заказчика –
кончено действие.
Остается прах отряхнуть с колен
и войти на равных
в Святое Семейство.

1996 г.

Не выдувай горячку между губ.
Настороже, как Будда, будто тростью
по лужам, слеп, рачителен и груб,
еще хожу и засыпаю в восемь.

Нишкни в тряпье, забейся в землю колом,
не горячи ни осени, ни страсти.
Забыт при жизни, в опустелый дом
войди, сказав растерянное «Здрасьте...».

Не свистнет рак, и чайник на плите
наговорится вдоволь, потому что
нет горячее речи на воде.
...А в сапоге — истертая полушка.

1996 г.

У муравья, несущего травинку,
и у коня, везущего арбу,
не спрашивайте даже под сурдинку
про жизнь и смерть, про славу и судьбу.

Ленивый кот часа четыре кряду
лежит у края пестрого ковра –
спроси его и получи в награду
холодный ответ вышнего костра.

1996 г.

ИРСИМ
(СИМИР)

Иронический символизм, или Символический иронизм

В районе границы столетий и тысячелетий у меня вдруг написались стихи, не похожие на прежние. Когда их набралось не два и не три, задумался: что за звери такие? Как-то их надо обозначить, объяснить, хотя бы для себя. Подвести теоретическую базу.

Насколько я знаю, обычно бывает наоборот. Сначала создается некая концепция, а потом в соответствии с ней пишутся рифмованные тексты. Но всяко случается. У меня вышло вот так.

Приводить бессознательное в сознание — намучаешься, как с падучей или пьяным бредом.

Наконец обнаружил в собственных опусах симбиоз двух поэтических школ, двух противоположных друг другу, контрастных стилистик.

Символизм, бывший, по выражению Ахматовой, «последним большим течением в русской литературе», явился в начале века. Великим его делала широта охвата: много апологетов, вторжение во все области культуры, солидная философская основа, от трудов Владимира Соловьева до работ Фридриха Ницше и Рудольфа Штейнера. Жизнестроительство в символизме не менее значимо, чем творчество. Полный, до экзатичности, серьез. Когда символисты пытались шутить, получалось примерно как у Андрея Белого:

Голосил низким басом.

В небеса запустил ананасом.

Прочтешь — и слезы наворачиваются.

Реакция на символизм возникла тотчас, в виде акмеизма и футуризма. На преодоление его мощных импульсов однако у русской поэзии ушел целый век. Еще в 70-е годы в символистской манере писал такой заметный поэт, как Павел Антокольский. Через него родимыми пятнами символизма покрывала свои стихи Белла Ахмадулина.

В конце прошлого столетия умами стихотворцев завладела другая школа — иронизм (метареализм, метаметафоризм). Ее

закоперщики, и прежде всего Александр Еременко, смеясь. не то чтобы расставались с прошлым, а делали властителей дум, основоположников, великих, «королей» своими ребятами, за-всегдаемыми перестроечных тусовок, актуальными персонажами. Вся русская поэзия, со своим «золотым» и «серебряным» веком, с годами безвременья и опалы уместилась за одним столом, хохотала, ерничала, разливая «пушкинского пунша дерзкий пламень». Еременко монтировал цитаты из предшественников в динамичной дзигавертовской манере, высекая на стыках искры смеха.

Теперь представьте, что я натянул на себя (еле-еле) маску Еременко, проникся его ироническим настроением и уселся писать символическое стихотворение, совершенно не пользуясь цитатами, а слегка шуткуя над стилистикой, духом, умонастроениями последнего великого течения в русской литературе. Получилось ровно то , что получилось.

Весь корпус текстов симира (ирсима) – перед вами.
Степашка бы меня похвалил: «Мощно задвинул».

Лес и степь

Я из лесу вышел... Теперь не гунди.
Типчак – и в небе рваные облатки.
И чтоб дорога не сбилась с пути –
конвоем лесопосадки.

За Троицком зори кострами Орды,
нашептанный ветер по кругу...
И люди, как кони, зачем-то горды –
одергивают подпругу.

На высеве тень молодого орла
накрыла полевку. От страха
смесительной молнией треснула мгла,
пуская по полю сайгака.

Напившись кумыса из титьки кобыл,
сайгак унесется морфеем,
пуская мышинные норы – в распыл,
орлиного взора левее.

А солнце висит на плечах, как рюкзак,
монголисто узится глаз –
иначе от пыли не спрятать никак
поблекший со скуки алмаз.

Иначе, родимый, ты станешь курган –
одна безымянная холка,
с надеждой, что вымахнет, точно кукан.
из сердца проросшая елка.

1999 г.

Ночью я в декорации города,
на подмостках пустых мостовых
светофорные зелень и золото
брошу в окна домов угловых.
Запускаю троллейбусный провод
до звезды, безучастной на вид -
на шестом доезжаю, который
от Стрельца и до Девы пылит.
Мне нетрудно рубином и охрой
начертать на фасадах, как стих:
«Продуктовый гэбэшного ВОХРа»,
«Ателье индпошива слоних».
И слепя наготовю в оконце,
мне в награду за сделанный свет
бросишь царственно, словно червонцы,
чуть надкушенный красный ранет.

1998 г.

Поиск русской речи

Если ты – инфузория «туфелька»,
значит, я – сыромятный башмак.
Прохожу я, как в тютельку тютельница,
в речь турчанскую на бишбармак,

Ты в колодцах курлыкала, брошена,
я валялся столетья в полях.
Нас мешали с зернистой порошею
и с французским смешным «о-ля-ля».

На пустой оттоманке империи –
в изголовье повешенный серп –
мы следы отыскивали и сверили.
Так и есть: родовые, как герб.

Ты развеяна спорами по ветру.
Я, земной, выхожу на большак
и ловлю в этом воздухе вспоротом
наше все – сладкозвучье: «Бардак».

2000 г.

Ты выйдешь над пропастью –
серый маяк
скользнет, как тушканчик, по небу.
Лопатки, как лопасти.
Лепится страх,
морочит тошнотная небыль.
Простите на сходнях заблудшую дочь,
она не искала изгнания.
Бросает, как милость, корявую дверь
Господь посреди мироздания.
Не बारे. Что Вологда под топором
рубцовским, что штоф в «Англетере» –
за все с нарумяненным кстати лицом
войдешь в заскрипевшие двери.
«Паллада»! На хрустнувших сбоку бортах
напишут красивое имя –
на сходнях, на сбитых моих башмаках,
на плате, торчащем, как вымя...

2000 г.

Романс

Вот так и надо – хера ли еще?
Надень салоп, в меха закутай уши.
Ты не поймешь, оболган иль прощен,
ушедший тише, чем в желудок – ужин.
Зачем и знать, когда наверняка
моих грехов рассыпанная повесть
одной тебе занята и легка.
Торчишь в салопе, как трава по пояс.
Уж, верно, так: на сгорбленной земле
не выбираем пестик по соцветью,
докуда долетели, тот и светел,
тому и мандолина на метле.
Уйду совсем, крестом разбросив руки,
и ты одна, хозяйка и холоп,
пометишь поле образом разлуки,
надев на крест замасленный салоп.

1999 г.

Романс 2

Вы хорошеете в прицеле наших глаз.
Прищуриваюсь: сильное свечение.
Я ем салат. Я думаю о Вас.
Как Ваш портрет смотрелся б на печенье!

2010 г.

И что ты скажешь на мое «а знаешь,..»,
ответу ль я, закутаюсь ли в дым?
Вот книжку, как диковинку, листаешь.
Просматриваешь? Стравливаешь пыл?

Когда б не воля, полчище загадок
склевало б душу, разодрало мозг,
и сумасшедший, даже крысам гадок,
как падаль, пал бы, перешедши мост.

И там, в овраге, в щавеле, ромашках
я б размышлял; «Таинственен овраг.
Зачем он здесь? Неужто, чтобы Машка
рвала цветы, а я не видел – как?

Чтоб голосок ее не доносился
до станов и околиц, чтоб жнивье
не толковало, как губами впился
я в грудь ея, в дыхание ее».

Выпутываясь, словно из постели,
я выберусь из ямины земной.
Не зная ничего, решу, что трели
птиц разгадал и звезды над копной.

И нарастив, как волю, заблужденья,
мгновенно встроюсь в ряд вещей и лиц.
«Чего ты там бормочешь?» – бросив ниц
пустую книжку, спросишь с сожаленьем.

2010 г.

Тогда надо вынести мусор,
лентяйкой втереться в полы,
тогда надо нитку намуслить,
настаивать в водке полынь,
тогда надо гвоздь забубенить,
повесить красотку, смотреть,
связать развалившийся веник,
врубиться в радионую сеть.
Тогда у распахнутой бездны
на краешке, чувствуя дрожь,
зацепишься ногтем облезлым.
Тогда, может быть, поживешь.

2001 г.

Тайно гордился, холм сравнив с ягодицей.
А на днях обнаружил:
Мандельштам в тридцать пятом еще
и Бродский в шестидесятых
высветили зарницей
заднюю часть пространства
и вынесли под плащом.
Задумался о поэтических формах
в наступившем столетии.
Как бы ловчей Интернет примастрячить к стиху,
используя школу Тарту.
Но еще не выучился включать,
как Вознесенский в пятитомном великолепии
сайты и чаты е-мэйлит.
Тут же Кальпиди «Хакером» харкнул.
Остается признать: Бог не мной говорит –
подбираю объедки, границы
открывающихся делянок
не успеваю столбить,
но интересней другое:
Солярис людской
очень строго куда-то стремится
следом за колокольчиком,
что все так же звенит под дугою.

2002 г.

Карта

Раскатывать карту придется,
нащупав границы.
На ощупь она не дается,
как в руку — обмылок.
На Западе крепится Брест на равнину,
но хило,
сползает в болота, в Полесье,
где кычет Олеся.
Киев снизу, как мать, стелет крылья зегзицы.
Зацепишь на Брянске,
шумящем лесами сурово.
Здесь враг не пройдет,
здесь уран партизанит по кронам,
здесь враг упадет,
облысев от рентгенов под каской.
О, Родина, здравствуй!
Твои мне любезны покровы.
И сразу на Юг бы, где Сочи, там — темные ночи,
и сразу б на Север, где Питер,
где белые ночи,
но вреден мне
йодистый воздух морских побережий.
Меж окон в Европы — сквозняк,
тут Москва,
развернувши платочек,
расселась, чихая салютом,
раз пятнадцать в неделю — не реже.

Но рано к болезной.

Я выползу под Бологое,
посеяв в лесах второе кольцо
обороны столицы,
стройбатовский штык
затупив в поединке с землицей.
Здесь выполз Мересьев.

Мы целы –
и я про другое.
Здесь ползают все,
возле Выползово,
у колесницы.
Насажены спицы дорог на Москву,
как на ось колеса.
Вульгарно пройдетя Бульварным,
Садовым потом забубенно,
и к ночи обочь Кольцевой
не увидишь лица –
что крови летит!

что знамен! –
широка полоса.
Считает Москва колоски, не смыкая очей,
у шоссе за Рублево.
Столица придаст ускоренье посредством пинка.
Я с новым мышлением
карту раскручивать стану.
«Да выдь же на Волгу!» –
подскажет Некрасов,
как лоцман, пардон, капитану.

И чайки застонут.

И, правда, река — не река,
хранилище вод —
вот, на зависть всему Туркестану.

У пресных морей птичья жизнь солона.

Соленей лишь Горький
в слезах над обрывом, как туча.

Из ока в Оку,
по усам,
по изъеденной круче
бежит ручеек.

Но и глядя с вершины холма,
воинственный Сахаров
жизни не выдумал лучше.

И значит, качу эту карту, как кару, качу,
и родственный пот проступает
на стертых камнях.

Двадцатку в тайге отмотав,
да с линейкой, приросшей к плечу,
мама слушает, как

по лежневке полуторка — чу! —
и «Володя приехал!» — кричат,
значит, сжалилась чужь.

В светлых Гайнах, в блокаде болот,
третьи сутки гудит население.

А в Кунгуре есть дом,
два окна на втором этаже
светят, будто глаза на лице,
когда я приезжаю.

Мерещится,
Сибирь приращена к России.
Обь, Лена, Енисей,
впадая в белый лист,
не обернутся впредь
«шарко» в отеле «Риц»,
бермудским депозитом,
особняком в Кастильи.
Тут карту положу, как гать над Васюганством.
Христосуются тут
Виссарион с чучхе.
Тут вбит метеорит
в таежные пространства,
чтоб обозначить Центр
тоски и окаянства.
Мы сами б не дошли,
повиснув на сучке.
Поэтому давай, пожалуй, самолетом.
В Хабаровске сойдем,
где ровен тел загар,
в амурском молоке
отмоченных от пота.
И я там заплывал.
Там вечная суббота,
там юный Нахтигаль,
Игнатов, Брага¹, нота
«Машины времени»,
не спрятанной в ангар.

¹ Мои однокурсники и друзья Александр Яковлевич Нахтигаль (р. 1957 г.), Сергей Юрьевич Игнатов (р. 1955 г.), Сергей Иванович Брага (р.1959 г.)

В Охе идет уек в прибое прямо в руки.
Оха тебе не Брест,
хоть родственна равнина.
Я карту раскатал –
и, значит, руки в брюки,
смотрю, как поднесен опасно в бьющем крюке
к подбрюшью страны
холодный стилет Сахалина.
За ним зарождается
пылкий тайфун «Агриппина».
Он скоро обрушится,
порт, как червонец, сомнет.
И карту свернет.

2002 г.

Бегло стукнув, войдут по-хозяйски.
Поэтичен и точен зачин
для плетения радостной сказки
о невиданных свойствах машин
для плетения кружев, для вязки
свитеров; и волшебные смазки,
что избавят лицо от морщин,
и отвертки с насадкой, и травы
с заповедных китайских лугов,
козья шерсть, три ножа и отравы
для клопов, муравьев, комаров,
и бенгальский огонь – для забавы,
и баллончик «дракон» – для врагов,
для кармана — простор величавый,
и отверстья в башке для рогов.

Так замешана, бог мой, окрошка,
так упруго построен сюжет,
где в героях то плошка, то ложка,
то утюг, то резак, то матрешка,
что приснится в ночи поварешка,
и поллюция хлынет в ответ.

Глассололия, будто наркозом,
обволакивает не спеша
маркитантским цепным обозом,
ворожкой цыганки Розы,
карамзинской слезливой прозой
и прицельностью «калаша».

Это ж были советские детки,
по линейке ходили в клетке.
Что за черт им подкинул ветки
синей ночью в прощальный костер?
Навострились читать с табуретки.
В подворотнях, хвативши крепко,
выли жалостно песню о Светке,
о соседке, тревожа двор.
Обалдел сетевой маркетинг:
во дают недорода дети!
По-астанговски голос громок,
по-остаповски ноги трут,
продадут хоть набор пеленок –
все б/у, и восьмой ребенок,
и девятый на них уснут.

Тьма сказителей этих бродячих
убедит, что Емеля прав:
печка едет и веник скачет,
и топор сам собой херачит,
потому и тепло на даче,
брага бродит, хрюкает Нафф...

2003 г.

Баллада о неденоминированном миллионе

Стояла осень. Слякоть. Надо выпить.
На кресле Нохрин выгнул птичий профиль,
взлететь готов, не Днепр —
так, значит, Припять
осилить.

Но, казалось, катастрофе
момент равнялся.

Из карманов ссыпав,
мы жалко наблюдали эти крохи.
Но зная, – голь сильна воображеньем,
я вызываю ангела.

Влетает,
большой такой,
по форме оперенья
напоминает Шуру Нахтигалья,
стреляет не в меня, а в шкаф, за дверью
которого спасенье обитает.
Понять намек способен –

не дурак,
иначе б Шура разве взял в посредники.
Ему кассеты немцы просто так
гуманно шлют,

а он не вяжет веники,
через меня сбывает:

натошак
идут и ваши сопли, соплеменники.
В шкафу лежат кассеты, упакованы.
Я набираю номер, замечая,
как прямо в кресле птица

рвет оковы,
коронной профиль радостный венчает.

Иду. Меня встречают, Все готово.
Беру мильон

с улыбкою нечаянной.

А птица уже выпорхнула на фиг.

У Дома всей печати,

на крыльце

поэт, как ответсек, не влезший в график,
рассеянно болтает,

на лице

читается:

а вдруг мне не потрафит?

И сложные вопросы в оконце.

А собеседник – Сашка — как? – Бурков¹

всегда готов. Здесь хлипко, сыро, марко.

Классическая тройка без уздцов

бредет, щебечет,

и язык-товарка

до «Киева» доводит,

вход грунтов,

вмонтированный прямо в чрево арха.

Там, наверху, Бутусов – тень уже,

а мы покуда тут, и в самом деле,

не заказать ли водки с бламанже?

Нет бламанже?

Вы точно –

охерели.

Вверху рисуют бабу в неглиже,

чтоб Корбюзье постичь,

добившись цели.

Под тяжестью расчетов и линейек,

мы строим план на вечер, как дворец.

¹ Александр Бурков – журналист, однокурсник Нохрина.

Раз «Киев» не торгует ахинеей,
тебе здесь делать нечего, творец.
Давай, на выход.

Посмотри, бледнеет
раздатчик польт
и метит нам в торец.

Я первым дохожу до тротуара.
О чем-то споря, Нохрин и Бурков
не замечают,

как нацелив жало,
откуда-то из тьмы, из-за углов
мальцов в ментовской форме вышла пара.
Им повезло.

Теперь мы их улов.
Хотелось их погладить по головкам –
несладко вам приходится, мальцы.
Погон с плеча сползает, и неловко
глядеть из-под фуражек.

«Мы ж отцы!» –
им крикнул Нохрин.

Но Толян и Левка
погнали нашу тройку под уздцы.
Серьезней нет людей, чем алкоголики
в приемной трезвяка,

где Страшный Суд.
И только Нохрин и Бурков

глаголами
жгли, как напалмом,

вредные, как зуд.
Хранитель кассы — тише только кролики –
я думал: «Этих точно уведут».
И надо же, когда меня призвали,
я встал неловко.

Мент из-под усов
ехидно молвил:
«Вы пьяны, товарищ!»
Я расписался
и пошел без слов
до шкафчика,
куда мне приказали
сложить одежду, кроме трусов.
Я краем глаза видел, виноватый:
друзей моих прекрасные черты
сползали книзу –
борода из ваты.
Врачиха zenки лупит – страх чисты –
на мой живот.
Берут ли в космонавты
таких?
Пройдут ли в люк такие животы?
В палате был аншлаг
(сказал же: осень, слякоть).
Через проход сидят,
толкуют, как местком.
Один блажит: то ржет,
то, вроде, хочет плакать.
Я лег в постель.
Она воняла сапогом.
Но если ртом дышать,
то засыпаешь всяко.
И тут меня кричат –
замаял ты, мильтон.
Опять в судьбе зигзаг:
теперь другого рода.
Я вылеченный весь.
Одежду отдают.

Встречает радостно свобода – вот, у входа,
и братья шарф мне подают.

Они достали всех –

дежурного-урода,

начальника, врачей –

и торжествуют тут.

Спросонья лезет чушь мне в голову:

едва ль –

я думаю – они меня так видеть рады.

Скорее, мой «лимон», ощипанный – как жаль –
проклятой менчурой.

И все-таки отрадны
объятия, улыбки.

Прости мне, Нахтигаль,

Идем мы в гастроном,

он тут,

почти что рядом.

Не выпили еще, но возбужденья рост:

я, вырванный из плена,

два героя.

Где праздновать победу – не вопрос.

Бурковы старшие в отъезде,

землю роют.

Над прудом городским проброшен мост.

Челюскинцев.

И действие второе.

На кухне жар.

Куда до нас Вальмону?

Пельмени, борщ, горбуша, сервелат.

По вечному природному закону,

хвативши этой мерзкой жизни яд,

заешь скорей, чтоб вставить по пистону

врачам, ментам

и Софочке Рейнблат.

Потом провал.

Потом автовокзал.

Постукивают в сумке поллитровки.

Подсохло.

Пыль.

Машины — по газам,

и белый мусор

в гиблой вытанцовке.

И вдруг средь киосковой городьбы

гармонь запела,

выражая чувства.

Понятна цель.

Без внутренней борьбы

идем на звук.

Нам показалось, грустно

мужик глядел.

Средь сумрачной толпы

он был один

носителем искусства.

Однако при ближайшем рассмотреньи

я обнаружил в мужике прищур

и цепкость рук,

когда они в движеньи,

так, может быть,

ощипывают кур

или с лица блудливым выраженьем

за зад хватают Люсек

или Мур.

Он здесь рубил деньгу.

Не Муза, а сноровка.

Не Бог, но ремесло.

А Нохрин кто?

Поэт.

Он слепит из говна
картину в духе Босха,
уродцу подпоет, задумает квинтет –
не оркестровка, так аранжировка
уже в маханьи рук

рождается на свет.
Мужик в напряге,
в панике глаза
так мечутся,
как руки по гармони.

А вдруг братва?
И Нохрин подозревал
меня движеньем дирижерским:

«Что ли,
отсыпь ему».

Послушно капитал
кладу в кепарь, натертый, как мозоли.
Я обернулся.

Хмурая толпа
текла,
как будто волн амурских стая,
и по стремнине, наискось –
отпад! –

торпедой мент,
околышем блистая,
в предощущеньи званий и наград
пер прямо к нам, буруны завивая.
Едва Серегу дернул за рукав,
как прозвучало вечное: «Пройдемте!»
Нам каждый день положен волкодав,
точнее — шавка.

Шконка.

Черный ломтик.

В дежурке из карманов все достав,
внимаем лаю

форменной суконки.

Похоже, не засранцы мы –

засланцы.

Нас вычисляют в серости, дерьме,
испанцев будто или трансильванцев,
легко

и вяжут веники к зиме

(зимой неясно,

иностранцев танцы

иль, может, просто греются оне?).

О, чудо! Возвратив «лимона» дольку,

вручают нам квитанцию на штраф.

Хоттабыч так не мог сразить бы Вольку:

растут культура

и охрана прав.

Мы прямо в магазин идем,

поскольку

достоен чарки

внутренний устав.

Как в неводе, болталась в красной сетке

царь-рыбина –

мы вышли на крыльцо.

А там Илья, мой сын, стоит в вельветке

с на редкость ясным,

правильным лицом.

Он весь – укор,

он – луч, пронзивший ветки.

Так стыдно:

парню не свезло с отцом.

Но поздно строить благодстную мину.

Какой уж есть.
Пошли, ребята, в дом.
Илья в «стрелялке» бьет
бегущим в спину,
меж тем на кухне –
форменный дурдом.
Тут Нохрин жарит,
словно месит глину,
и рыба немо
подпрыгивает под ножом.
Пыл вдохновенья, пляска у плиты –
глаза горят, жир брызжет на обои.
А, наплевать, покуда мы чисты,
пока мы здесь, пока нас, в общем, двое,
и тыща дней до места,
где кресты –
поддай, давай, гуляй себе на воле.
Ночной эфир видение колышет:
не знаю, то ли придурь, то ли сон.
Вот будто бы призвал его Всевышний,
и будто бы пред очи вышел он,
чтоб разъяснить один вопрос нелишний:
как правильно истратить миллион.

2004 г.

Ты понял все... Что каша – из пшена,
любовь-морковь, и женщины – обманка,
в собрании людей хитро и марко,
и вавилонской выделки пожарка
ревнивым Богом нам запрещена;
что рассказы Историю творят,
штык-молодец, а пуля, ясно, – дура,
что на фиг не нужна литература,
один С. Кинг – бессмертная фигура,
и то лишь по количеству денегат;
что подлецы обычно при чинах,
Иван-дурак, и в третьем поколеньи
тебя забудут, потому как Ленин
положен здесь для общих поклонений
и памяти. Все остальные – прах.
Ты понял все... Все суета сует.
Когда упершись взглядами в экраны,
мы смотрим в них, как в черепные раны,
то проблески в отходах так желанны,
но редко их доносит Интернет.
Ты понял все... Что водка не спасет.
В крови она накопится, и вскоре,
где стол был яств, там тело в чистом поле,
ну, может быть, при скошенном заборе.
В ширинке – клевер,
а в ноздре – осот.
В деньгах умело спрятан кукловод.

На тысячной купюре
ярославский
звонарь веревки дернет, парень баский,
и ты впрягайся лошадью в салазки,
вози сюда – расход,
туда – доход.

Ты видел все... Бессмыслицу страстей,
в столетия не высохшую лужу,
в наверхьи ветер глупый обнаружил
и выпутал из веток без затей.

Ты понял все... Решил не дорожить
ни запахом сирени, ни участием
собачьей морды, потому что частью
их посчитал вселенской этой лжи.

Ты понял все... Доволочась на одр,
последний вдох хвативши, как затяжку,
вобрал в себя, у горла сжав рубашку,
весь воздух до околицы и от.

2004 г.

В этом узилище улиц ни зги.
Брешет собака да ветер по кронам.
Я из породы такой мелюзги,
что не учтен ни луной, ни Трезором.

Горние струны поют не тебе –
просто флюгарик лопочет крылами.
Черные травы, как мох, в городьбе,
криво поставленной между полями.

Ищешь свободы – шагнешь за порог
и пропадаешь безгласно и кротко
в воздухе, мглой набивающем рот,
в копиях, в узилище, в паханных сотках.

2004 г.

Если вышел, знай, квадрат квартала
взят на мушку взглядом исподлобья.
У Катюши – это та, что справа –
выхлоп спрятан в сахарные хлопья.
В скверике засадят «бомбу» пива
двое, продырявят полый пластик.
Времени теперь у них с отлива
до заката – умотаться. Кастинг
за углом у бара-ресторана
мент и мент проводят из засады.
Лазер глаз – везде, где есть охрана –
пишет на стене словечко «гады».
Матерок порхает над газоном
как разрядка, как разряд озона.
Высечет китайская хлопушка
искру – оглушенный, ищешь пушку.
Отбежав, оскалятся ребята –
просто тренировка в геростраты.

К рощице пустынным переулком,
к небу, отороченному веткой...
Пожелай себе перед прогулкой
лучше не встречаться с человеком.

2005 г.

Я больше не могу смотреть друзей в гробу.
Латать прорехи в воздухе мне нечем.
Береза, глина, вервь, удушие в зобу,
родители друзей, раздавленные плечи...

2005 г.

Ущелие в Куру впадает сухо,
Бараньей шерстью вьется город Гори.
Иосиф-ученик и муха-повитуха
оставлены одни в духовной школе.
Внизу, где в устье горного прохода
меняют молоко и шерсть на рыбу,
гортанна речь, как будто до Исхода
в Филистимии эхо точит глыбу.
Отпав, как камень, эта Книга книг
читается не легче, чем морзянка.
Наказанный Иосиф-ученик
главой поник, на муху зырк: «Козявка!».
Но времени назначенная даль
была пуста, и чтоб приблизить сроки,
он Библию раскрыл, как пробуют гадать,
стал разбирать причудливые строки.
«И Бог ему сказал: ты сына своего...».
Иосиф побледнел: от Иеговы-ире
до этих новых гор звучание свело
филистимлян, его. Они — в едином клире.
«Так, значит, я, как бедный Исаак,
гоним отцом по наущенью свыше.
Виссарион, ты платишь свой ясак,
вытуривая сына из-под крыши.
А если Бог в отцову вложит длань
нож, заповедует смертельный хворост,
и не огниво – спичка, серы грань,
и Ангел опоздает взять за ворот?».

Закатный свет растекся по стеклу.
Жужжа, в огне угрюмо билась муха,
как будто там, в оконном том углу,
был воздуха глоток запрятан глухо.
А в небе бледный жар сменяла просинь.
Мысль вознеслась по горному отрогу.
«Нет, я – не Исаак. Меня зовут Иосиф», –
так вышел он из подчиненья Богу.
Дождавшись этих слов, затихла повитуха
и тут же померла. Что делать, божья тварь.
Школяр ревизовал меж тем вершины духа
и цену назначал за верность, бог и царь.
Наставника узнал по закрыванью ставен.
Урока не спросив, тот отпустил спроста,
и вышел на крыльцо товарищ Сталин
за два тысячелетья до Христа.

2005 г.

Кунгур.
Диктат диктанта

Контур властью вечера
смял колючку оград.
Иоанно-Предтеченский¹
влит в багряный закат.

Храм Свободы как малость
замыкает – и вот
целой улицы жалость
обрела в нем оплот.

Возвышает щемяще,
в вечной жизни сулит,
что мятежность обрящет
форму, контуры, вид.

Только там, в перспективе,
улицы на краю
слиты в красном разливе
Храм и Твой неприют.

Дожидаюсь автобус.
Поперек перейдут
вдетый в синюю робу,
баба, в кепочке фрукт.

¹ *Иоанно-Предтеченский (Никольский) собор – главный храм бывшего женского монастыря. В 30-е годы большевики превратили обитель в колонию. Зона до сих пор работает, располагается в центре города, в ней содержатся зэки с серьезными сроками. В 90-е собор выгородили, сделали общедоступным, но вокруг заборы с колючкой.*

И над лужей извечной,
над ларьков городьбой
реет Храм как предтеча
соглашенья с Тобой.

2010 г.

Цехов прокопченных суровость.
Спецовок промасленных сталь.
По-дятловски бьющая ровность
прессовки. На стенде – медаль
«За доблестный труд». Эти лица
прибиты к Почета доске.
Я видел их в той веренице,
впадавшей в ворота реке.
Снега и дожди не отмоют
с тех пор загазованных стен,
отпевших гудков не накроют
сигналы звучащих сирен.
И все, что казалось убогим,
вдруг сделалось мне дорогим:
лоснящиеся пороги,
вертушка, над трубами – дым.
Уж точно эстетика эта
оплачена в легких свинцом,
всей жизнью, всем внутренним светом
соседей и мамы с отцом.

2010 г.

Крутизна огорода
удобна была
для взлетающих птиц,
для распянных бабочек,
реявших гордо, как птицы,
для подсолнухов,
с помощью солнечных спиц
поворот совершавших,
чтобы небом упиться.
Из-за Сылвы посмотришь –
горит светлячок георгина
на высокой горе.
Я спускаюсь с нее, но еще
до конца не дошел.
Зеленеет прибрежная тина,
неизбежная,
словно оградка с зеленым хвощом.
У ковчегов бесчисленных пристанями
свои арараты.
Дед, как Ной, просыпался по гимну, к шести,
кашлял, мям «Беломор»,
и слетались от птиц делегаты,
кошка шла потереться о ногу,
пес ворчал на цепи.
В белой майке, в трусах
дед садился у кульмана,
в дыме,
папиросном, пронизанном солнцем,
включал глазомер
и чертил не дома и мосты,
а прокладывал в вязкой рутине
курс ковчега,
чтоб день переплыть, например.

Я к нему иногда прибегал слушать музыку речи.
«Что, не спится, варнак?

Ну, давай, поточи карандаш».

Мне бы порисовать,

а не бритвочкой грифель увечить.

Я награду просил за старанье:

«Деда, тут провести

мне немножечко дашь?»

Пролетели шаги дуновеньем крыла, ветерка.

Бабу Галю приветствует ласковым скрипом

в сенях половица,

а она, будто ласточка, скрепит любовью, легка,
наш ковчег,

чтобы к завтраку в дом

превратился.

Там смиренное время

ходило, как надо, в часах.

Страсть брыкалось недавно,

тюрьмы, голод, войну насылая.

Козни хаоса кончились.

Охранял рубежи палисад,

среди астр и тюльпанов

анютиных глаз не смыкая.

Я балованный внучек хвативших лишений и бед.

Как меня берегли,

солнцем туч череду пробивали,

ветерком обернувшись,

сдували соринки и вслед

ивой, тополем, кленом смотрели, моля о привале.

Но не боги, увы.

И теперь я уже под горой.

Мнится, словно венки,

отраженья в реке проплывают:

георгин, палисадник, рябина, на ватмане той
почеркушки размокший остаток, трава полевая...

2010 г.

Топография Ледяной горы

Слева от кладбища, вниз по тропе,
берегом правым по каменной осыпи,
вверх по течению – вот она, Господи,
дверь, за которой уже не в мольбе,
в ранней смиренности, пробною поступью
по лабиринту проходим к Тебе.

Если скалу начиняет пещера,
значит, гора получает права
думать, как дерево, речка, трава,
как головы поднебесная сфера.
В этих извилинах наши слова
материальны, как мысль и химера.

В самом начале холодом входа,
мимо прошедших дыханий резьбы –
знаки и очерки спетой судьбы,
как бриллианты¹, застынут под сводом,
и сталагмитов пометят столбы
грань девятин, неизбежность провода.

¹ Отсыл к гроту Бриллиантовый Кунгурской ледяной пещеры.

Дант² ли заглядывал дальше в проем:
хаоса мощь и, как атомы, глыбы –
горка яиц, нерестилище рыбы –
то ли Начала решительный слом,
то ли в аду, наподобие дыбы,
колется — весь из углов – окоем.

Сылвенских вод загипсованный лик –
мертвых озер неземная прозрачность³,
только рачок крангоникс как удачу
воспринимает, что полностью влип
в тину на дне. Под покровом стоячим
сослепу жизнь шевелится, как всхлип.

Так проведите скорее к Нему!
Брежит в тоннеле свет неотсюда.
Выход из брюха горы – это чудо.
Жмуришься, красок хватив кутерьму,
и через жар отступает остуда,
будто покинул сырую тюрьму.

Дуриком прешь до вершины горы,
и обомлев в ковыле и осоке,
видишь плато, и усмешка сороки
плохо понятна тебе до поры.
Нету горы – просто берег высокий,
по горизонту – лесные боры.

² Отсыл к гроту Данте.

³ Считается, что пещерные озера связаны под землей с протекающей рядом рекой Сылвой.

Если обманка на что-то дана,
сядь на траву, посмотри между прочим:
небо крышует, как чистые Очи.
И на реке не моторка слышна –
детской трещоткой гремит перевозчик.

2005 г.

Могила отца

Положили под березой
мертвого отца.
Обрубили корни-слезы
с южного конца.

Ветер веет, дождик сыплет,
солнышко блестит –
всё узнает, всех окликнет,
рядом постоит.

В лепетаньи листьев голос
с легкой хрипотцой.
В паутине белый волос,
вдернутый весной.

Неба взгляд голуб и сочен.
Мертвенная тишь.
Отщипну коры кусочек –
«Больно», – говоришь.

2015 г.

«Я есмь очко!» – кидает век надменно
мне карты в нос. Похоже, он игрок,
как старший брат, стоящий по колено
в крови у окончания дорог.

В начале мы то Петербург затеем,
то казаками Сену удивим,
а все одно, под пыточную терем
потом пойдет, узором бросив грим.

Всю зиму город в праздничном наряде:
гирлянды, фейерверки – красота!
Он мне чужой. Я стар, не при параде.
Другая наступает суета.

Пусть звезды затмевает и актеров
ширь разноцветья, чувствую нутром:
среди зажегших свет слепая ссора
гнильцой мерцает, и сияет хром.

«И что за дело? – думаю. – Чего мне?
Накаркаю еще, избави бог».
Проходит мимо девушка в короне
цветных лучей, надетых на платок.

2006 г.

Авангардно

Мне представляется, что авангардистом нельзя стать, им надо родиться. Для Велемира Хлебникова, Алексея Кручёных, Ильи Зданевича да и Романа Тягунова такой способ самовыражения был естественным, соответствовал их психофизике. У людей вроде меня авангардные штучки получаются сделанными, что не есть хорошо. Убедился в этом, уже в преклонных летах написав несколько вещиц в подобном духе. Только две из них заслуживают какого-никакого внимания, да и то смеховой стороной, не для всех различимой.

Вот скажешь, кажется, «корова» –
скоромный дух в пределах крова,
три «о» – триод, а с молоком
шесть «о» – шизо вползает в дом.
Про хвост забыл, а с ним выходит
семь «о» – семья в локомотиве.
Дробится слово в ритме ходиков
и ширится рекой в разливе.
Тут понимаешь, что оно
уже не значит ничего,
и силишься опять назвать
коровы выменную статью.

2006 г.

Латиноамериканский сериал

Семисадырамиресанады
Цветевареперенеувивранье
Мариноногорододорады
Слегупоцезабалуобминарья

Шичепиркутолкарищежуо
Измековартринаподворисвирства
Дибравнетепрерабкажитобло
Узнаслузамапажетутеринства

Липлашьеполтаницезарица
Целувзюютзасосмеприлюсяхом
Ромальжадевоютчинокирца
Живтьенасчагодолоперемахом

и тыды.

2006 г.

Шариковая ручка

Да, стебель руки скукожен, и все ж,
как капли дождя, опадают
то буковка, то запятая.

Возьмешь,
посмотришься в лужицу –
мелкая дрожь.
Осадки, увы, угнетают.

Предмет насадить бы на кончик пера,
достать бы из сердца названье,
но ступлен конец, и осталась игра:
гоняешь шары по столу до утра –
от знанья растут притязанья.

Вот ежели левым напишешь бочком
словечко, допустим, «красиво»,
то правым сомненьем накатится ком,
замажет, рассердится – и поделом:
не тырь барахло коллектива.

А дел накопилось невпроворот.
На острове в русле Исети
лежит, загорает довольный народ.
Спрошу я: «Вы где?»

Скажут: «Что за урод?»
Под солнцем резвятся, как дети.

Овраги, вершины, поля, озерки –
лежит полстраны без названий.
Как птички, везде пролетаем, легки,
бесплотны почти, ведь у Божьей руки
для выпавших нет упований.

С библейской подробностью всякий родник
назвать, как ребенка в утробе,
но перст указательный

ногтем поник,
поскольку держать острие даже миг
у шарика он не способен.

Достану из сумки перо так перо.
В гусиной среде наведя справедливость,
мне Беликов дал его, глядя хитро,
мол, если и им не сподобишься, то
не парься вообще, сделай милость.

Расстроюсь, поскольку чернил не достать.
Оглянешься: вот уже осень.
Два шарика сдвину, и страшно сказать:
то облако, слева — не гроб, так кровать –
нависнет под номером восемь.

2007 г.

Поэтов бабочки влекут –
нет, не бабло, не бабы даже –
капустница в небесной саже
и адмирал, в чьи крылья всажен
зрак, черный, как подземный труд.
К нектару взбалмошен полет,
и стол везде, куда присели.
Как летом красочны метели,
дают понять, сплошную зелень
разбавив промельком свобод.

Не так ли ты, поэт? Но вот,
дар не отращивает крылья.
Из гусеницы сухожилья
флюиды выдавишь с усилием
и ходишь задом наперед.

2008 г.

Гордыня

Прозревая логику богов,
безъязычьем мучаясь и сыпью,
мнишь себя носителем даров,
трубным гласом, на болоте – выпью.

Ходишь, не касаясь этих троп,
с небом разговариваешь ночью.
Заслуживши званье «мизантроп»,
презираешь жрущих и порочных.

Ловишь весть, транслируешь в ответ
колебанья вод, октавы ветра
и на спектр раскладываешь свет
с точностью нездешней геометра.

Целишь горном прямо в высоту,
но сигнал разбудит рядом спящих,
не достигнув даже птиц парящих,
а не то что ангелов в саду.

Вот же мука – бисер золотой,
трепетный, брильянтовый, горящий,
рассыпать пред серую толпой,
тупо обретающейся в чаще.

Все затем, чтоб не забыли вбить
имя над неполотой могилой,
чуждое мычанью севших пить,
шороху листвы березки хилой.

2010 г.

На геленджикском бульваре косяки загорелых тел,
нерест,
 томное море в бухте
заласканное шелестит,
 язычком вылизывает пробел
между пеклом и вечером,
 орудует страстно в ухе.
Сквозь помехи едва различишь,
 как с припухлых губ
мат слетает,
 «Артем — козел»,
 «Засажу его в жопу».
Совершенны сосуды скверны,
 дух материи груб.
Не пускайте Дуську в Европу!
Потому что затмит собою Миланский собор.
Окаменевший дождь блевотину не отмоеет.
Так уж вышло,
 что наш ослепителен сор,
и растут из него то стихи,
 то дите малое.
Море черное ночью, из него проступает свет.
Пышет женской горячностью,
 волной бередит сладимой.
Выйдешь на берег,
 мелкий перед заливом, шкет,
смочишь горечью волосы,
 услышишь: «Гляди, один он».

Как бильярдист на кончик кия
или язычник на огонь,
в дисплеи вперилась Россия –
серьезная, попробуй тронь.
Не пух снегов сегодня образ
покоя, летаргии, сна,
а эта грузная серьезность
у электронного окна.
Чем меньше степень пониманья,
как управлять полетом пуль,
тем напряженнее камланье
и лиц значительнее нуль.
Вглядевшись словно в темь колодца
или в геральдику небес,
девчонка в никуда смеется,
прочтя в маршрутке эсэмэс.
Приимчив рукотворный Боже.
На все конфессии забив,
он — проводник любых ничтожеств,
любого праведника лифт.
Намоленная общим кликом,
как обещание красот
торчит в окошках-базиликах
иконка с ликом «Майкрософт».

2010 г.

Зверь

В мою квартиру заходит зверь,
нюхает чашки-ложки,
пробует лапкой, поддастся ли дверь,
если толкнуть немножко.
Раз заманил, надо кормить.
Рефтинские пельмени
ставлю на стол, наливаю пить.
Как с человеком, со зверем.
Сядет, ноги поджав, на стул,
будто на тумбу в цирке.
В недрессированном взгляде посул
жесткой борьбы на ринге.
Пойла хлебнув сто пятьдесят,
пустится в пляс дикарский.
Юбку поднимет, бедром ведя –
видно, не без натаски.
Зверю одежда зачем, ну да?
Шкурку хочу погладить,
но извивается не туда,
где у ладошки саднит.
Кофту схватила. «Мобила где?».
Шустро свалила на фиг.
Мою посуду, пролеп везде
дымного следа трафик.

2010 г.

Свердловск-Екатеринбург

Мне город тот распахивался весь.
Мне наливали, помню, на Лумумбы
и на Коммунистической, где клумбы
цвели в полкруга, потому что здесь
проход везде товарищу и другу –
и быть тропой другому полукругу.
В какие заносило этажи!
Недаром у меня Эльмаш с Химмашем
рифмуются с наполненной чашей,
и гаражи кончаю я на «жи»...
и крыши, и подвал в холстах и бюстах,
над ним – ЦэГэ¹, а в нем – эрзац искусства.
От разносолов Буша² и Централки³
ночь расширялась на размер души,
такси в сто троек клало виражи,
стремясь застать апофеоз гулянки.
Я помню, утром в окнах на Барбюса
овца бродила, чистенькая, в бусах.
С писателями в ДРИ⁴, с артиллеристами
на Щербакова⁵ правил глазомер,
Чапайку⁶ брал, и в ходе этих мер
нам «Космос»⁷ открывался всеми чувствами,

¹ ЦэГэ – самый известный в Свердловске продуктовый магазин.

² Буш – свердловское прозвище ресторана «Большой Урал» в одноименной гостинице. Ныне прозвище почти забыто.

³ Централка – рестораны в гостинице «Центральной». Это мог быть и «чердак», и «подвал».

⁴ ДРИ – Дом работников искусств. Сейчас в этом здании находится Дом писателя.

⁵ Щербакова – имеется в виду высшее артиллерийское командное училище на Щербакова, 145.

⁶ Чапайка – подразумевается общежитие Уральского университета по Чапаева, 16.

⁷ «Космос» – ресторан, считавшийся в Свердловске самым «крутым».

когда весомый, стратосферный счет
разбросан был на слаженный расчет.
Неверною, не маршальской походкой
по Жукова ходил не раз, не два.
То песнь заводишь, то бредешь спьяна,
отпетый весь, разбитой утлой лодкой
вплываешь к лифту и стоишь над кнопкой,
забыв этаж, число и имена.
И на Уральской, как же, на Уральской,
где яблоня в четырнадцать лерстов,
унизанных колечками цветов,
одним грозила и ласкала пальцем,
сумевшим дотянуться до стекла:
томила, мяла,но потом спасла.
Отечество мое на Большакова⁸.
Оттуда эмигрировав, страдал
на Самаркандской⁹ под зурну хлебал
орущих пэтэушников, оковы
упали на Уктусской¹⁰, думал: «Все ж
в страданьях есть отчасти выпендрож».
Умельцев, Новгородцевой, Бажова,
Белинского, Мичурина, Московская,
Посадская. Июльская, Мельковская,
Восьмого Марта, Гоголя, Попова -
не перечислить тех заветных мест,
куда был зван с весельем и речами
в том городе, где жили свердловчане,
имевшие друг к другу интерес.

⁸ Большакова – имеется в виду общежитие УрГУ на Большакова, 79.

⁹ Самаркандская – общежитие химмашевского ПТУ по адресу Самаркандская, 31.

¹⁰ Уктусская – общежитие издательства «Уральский рабочий» на Уктусской, 41.

На смену им пришедшие ебуржцы
несутся в железяках, как по Турции,
им выдает названья тех же улиц
ГЛОНАСС-система или ДжиПиЭс,
и просто лохов отличить ст умниц:
тот – «жигули», а этот – «мерседес».
Домой? Вы что? В авто не пустит, гад:
натру чехлы иль хлопну невопад
стальнойю дверкой, да и, в общем, вес..

Сижу один, последний пешеход.
Куда мне путь, туда не опоздаю.
Видения на праздники скликаю.
Мир все скучней. Но, может быть, свезет
и в чьем-то завещаньи прочитаю:
«Прошу меня похоронить с машиной.
Одеть ее в «мишлен», с такую шиной
я в землю лягу, мордой – на капот».

2011 г.

Все умерли, а я еще живой.
Свидетельствую: небо просветлело,
открылись беспредельные пределы
над лысой, как антенна, головой.
Вон в тех, у горизонта, облаках
почудятся участливые лица
и уплывут, давая солнцу литься
и мне теряться на семи ветрах.
Покуда торжествует благодать,
стоишь, не понимаешь, оглоушен,
и мир великолепно равнодушен,
но некому об этом рассказать.

2011 г.

Дом строится, как дерево растет.
Кольцовку этажей нагромождая,
раскинет тень, раскроет окон рот -
оттуда звуки, песенка простая.
Всего полвека — и поймешь легко,
дом прижился в божественной природе,
или гниет и чахнет оттого,
что неуютен.

2012 г.

Донбасс

Снаряды долетают до Урала.
В полете истончаются до жала.
Приросшие к диванам патриоты
укусы получают, сыпь и рвоту.

Скрипят патриотичные диваны,
вылазят на большак, елозят в ваннах,
себя представив кораблем азовским,
меняют поролон на кубрик жесткий.

Порвав тельняшку, верит патриот –
сейчас в котел противника возьмет.
Котлы дымятся, адовы котлы.
Их место здесь, они раскалены.

2015 г.

Содержание

От автора.....	3
«Даже когда по цепи золотой...»	5
Покинутый дом	6
«Фонари пристрочили небо...»	7
«И нет ни гнезда, ни небес голубых...»	8
«На длинном государственном окне...»	9
«Гастроном отшелкнул счетами...»	10
«По-собачьи за теплоходом увязались, не отстают...»	11
«От посвиста света до желтой рванины в лесах...»	12
«Поезд уткнулся в дождливый и красный сентябрь...»	13
«Никто за полночь эту не ответит...»	14
Украинский мотив	15
«Бульвар прогреет, и оттого-то вечер веет...»	16
Посткурортный роман.....	18
«Обернешься – и скажешь: «Живи!».....	19
Шефы на картошке.....	20
«Снова заморочки осени под шиной...».....	22
«Покуда мы все – на Казанском вокзале...»	23
Посвящение перестройке	25
«Будь у мантии шейф – а носильщик найдется...»	26
В общежитии	27
«Нырну в ложбинку улицы старинной...»	28
Дистанция.....	29
I. «Местность – любая. Время – к ночи...»	31
II. «Просыпается с рассветом вся страна...».....	33
III. «Чищу туфли. Надеваю брюки-клевш...»	37
IV. «Пока в подворотне щенится облезлая сука...».....	38
V. «Оббиты пороги, отпеты мои башмаки...»	40
VI. «Понимаю дистанцию – не как меру пространств...» ..	42
VII. «Уймись, тщеславье!»	43
VIII. «Дистанция огромного размера...»	44
IX. «Я у черта на куличках. Зачерствели куличичи...»	46
X. «Шарманщик игру затевал на углу...».....	48
XI. «Костер запалю — и останется стая...».....	50
Зимние реминисценции	51
«В порту Хальк-эль-Уэд я подобрал монету...»	52
Гауди.....	53
«Не выдувай горячку между губ...»	57
«У муравья, несущего травинку...»	58

ИРСИМ (СИМИР)	59
Лес и степь	62
«Ночью я в декорации города...»	63
Поиск русской речи	64
«Ты выйдешь над пропастью...»	65
Романс.....	66
Романс 2.....	67
«И что ты скажешь на мое «а знаешь,...»	68
«В летнем кафе, задирая подолаы зонтов...»	69
«Тогда надо вынести мусор...»	71
«Подонки отметилили – смотри...»	72
«Тайно гордился, холм сравнив с ягодицей...»	73
Карта	74
«Бегло стукнув, войдут по-хозяйски...»	80
Баллада о неденоминированном миллионе.....	82
«Ты понял все... Что каша – из пшена...»	92
«В этом узилище улиц ни зги...»	94
«Если вышел, знай, квадрат квартала...»	95
«Я больше не могу смотреть друзей в гробу...»	96
«Ущелие в Куру впадает сухо...»	97
Кунгур. Диктат диктанта	99
«Контур властиво вечера смял колючку оград...»	100
«Цехов прокопченных суровость...»	102
«Крутизна огорода удобна была для взлетающих птиц...»... ..	103
Топография Ледяной горы	106
Могила отца	109
«Я емь очко!» – кидает век надменно...»	110
Авангардно	111
«Вот скажешь, кажется, «корова»...»	113
Латиноамериканский сериал	114
Шариковая ручка	115
«Поэтов бабочки влекут...»	117
Гордыня.....	118
«На геленджикском бульваре косяки загорелых тел...»	119
«Как бильярдист на кончик кия...»	121
Зверь	122
Свердловск-Екатеринбург	123
«Все умерли, а я еще живой...»	126
«Дом строится, как дерево растет...»	127
Донбасс	128
Летокрад	129

Олег БАЛЕЗИН

«Дистанция»